



ЖЕНИХИ ЭТНОГРАФИИ: ПРОЕКТЫ НОВОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ В КОНЦЕ 1920-Х ГГ.

Дмитрий Владимирович Верховцев

Независимый исследователь

Санкт-Петербург, Россия

dverhovtcev@gmail.com

Аннотация: Первый период существования советской этнографии — 1920-е годы — оказался чрезвычайно плодотворным и плюралистическим в части теорий. На ниве формирования этнографической парадигмы активно действовали четыре центра порождения научно-идеологических дискурсов: ленинградские школы Волкова и Штернберга-Богораза, московская школа Анучина и авторитетный московский этнограф и администратор Петр Преображенский. К концу периода давление извне заставило школы кристаллизовать свои версии парадигм в текстах и публичных выступлениях. Наиболее громко прозвучали проект Богораза (фактически отождествлявший этнографию с полевым исследованием), проект Анучинской школы (где целью этнографии назывались широкие историко-культурные сравнения, данные для которых собирались в больших комплексных экспедициях — коротких, но с как можно более широким охватом) и проект Преображенского (который выводил «сравнительный» метод на глобальный уровень с фактическим поглощением исторической науки). Своими проектами лидеры школ выстраивали границы будущей этнографии со смежными дисциплинами, однако не смогли защитить ее от марксистской идеологии, что в итоге предопределило неудачу выдвинутых заявок. Попытка миметического сопротивления при помощи представления этнографических методов («полевого» у Богораза, «технико-статистического» у анучинцев, или «сравнительного этнологического» у Преображенского) в качестве выражения марксистской материалистической методологии в духе философского движения механистов потерпела неудачу. Это создало этнографии репутацию «немарксистской» науки и способствовало дальнейшему разгрому как школ 1920-х, так и связанных с ними институций.

Ключевые слова: Совещание этнографов 1929 г., школа Штернберга-Богораза, полевые методы, история советской этнографии, междисциплинарные границы.

Для ссылок: Верховцев Д. Женихи этнографии: проекты новой этнографической парадигмы в конце 1920-х гг. // Антропологический форум. 2025. № 67. С. 59–92.

doi: 10.31250/1815-8870-2025-21-67-59-92

URL: <http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/067/verkhovtsev.pdf>

ANTROPOLOGICHESKIJ FORUM, 2025, NO. 67

THE BRIDEGROOMS OF ETHNOGRAPHY: PROJECTS FOR A NEW ETHNOGRAPHIC PARADIGM IN THE LATE 1920S

Dmitry Verkhovtsev

Independent researcher

St Petersburg, Russia

dverhovtcev@gmail.com

Abstract: The first period of Soviet ethnography's existence, the 1920s, proved to be extremely fruitful and pluralistic in terms of theories. Four centres of scientific and ideological discourse-generation were active in forming ethnographic paradigms: the Leningrad schools of Volkov and Sternberg-Bogoras, the Moscow school of Anuchin, and the authoritative Moscow ethnographer and administrator Petr Preobrazhensky. By the end of the period, outside pressure forced the schools to crystallise their paradigm projects in texts and public speeches. The most vocal were Bogoras's project, which essentially identified ethnography with field research, the project of the Anuchin school, where the aim of ethnography was stated to be broad historical and cultural comparisons, the data for which would be collected in large, complex expeditions, short but with as broad a coverage as possible, and Preobrazhensky's project, which raised the "comparative" method to the universal level, practically absorbing historical science. With their projects, the leaders of the schools drew boundaries between the future ethnography and related disciplines, but were unable to protect it from Marxist ideology, and this ultimately predetermined the failure of the proposed claims. An attempt at mimetic resistance by presenting ethnographic methods ("field" in Bogoras, "technical-statistical" in the followers of Anuchin, or "comparative ethnological" in Preobrazhensky) as an expression of Marxist materialist methodology (in the spirit of the philosophical movement of the mechanists) was a failure. This gave ethnography the reputation of a "non-Marxist" science, and contributed to the further defeat both of the schools of the 1920s and the institutions associated with them.

Keywords: ethnographers' conference of 1929, Sternberg-Bogoras school, field methods, history of soviet ethnography, interdisciplinary boundaries.

To cite: Verkhovtsev D., 'Zhenikhi etnografii: proekty novoy etnograficheskoy paradigmy v kontse 1920-kh gg.' [The Bridegrooms of Ethnography: Projects for a New Ethnographic Paradigm in the Late 1920s], *Antropologicheskij forum*, 2025, no. 67, pp. 59–92.

doi: 10.31250/1815-8870-2025-21-67-59-92

URL: <http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/067/verkhovtsev.pdf>



Дмитрий Верховцев

Женихи этнографии: проекты новой этнографической парадигмы в конце 1920-х гг.

Первый период существования советской этнографии — 1920-е годы — оказался чрезвычайно плодотворным и плюралистическим в части теорий. На ниве формирования этнографической парадигмы активно действовали четыре центра порождения научно-идеологических дискурсов: ленинградские школы Волкова и Штернберга-Богораза, московская школа Анучина и авторитетный московский этнограф и администратор Петр Преображенский. К концу периода давление извне заставило школы кристаллизовать свои версии парадигм в текстах и публичных выступлениях. Наиболее громко прозвучали проект Богораза (фактически отождествлявший этнографию с полевым исследованием), проект Анучинской школы (где целью этнографии назывались широкие историко-культурные сравнения, данные для которых собирались в больших комплексных экспедициях — коротких, но с как можно более широким охватом) и проект Преображенского (который выводил «сравнительный» метод на глобальный уровень с фактическим поглощением исторической науки). Своими проектами лидеры школ выстраивали границы будущей этнографии со смежными дисциплинами, однако не смогли защитить ее от марксистской идеологии, что в итоге предредило неудачу выдвинутых заявок. Попытка миметического сопротивления при помощи представления этнографических методов («полевого» у Богораза, «техничко-статистического» у анучинцев, или «сравнительного этнологического» у Преображенского) в качестве выражения марксистской материалистической методологии в духе философского движения механистов потерпела неудачу. Это создало этнографии репутацию «немарксистской» науки и способствовало дальнейшему разгрому как школ 1920-х, так и связанных с ними институций.

Ключевые слова: Совещание этнографов 1929 г., школа Штернберга-Богораза, полевые методы, история советской этнографии, междисциплинарные границы.

В начале лета 1923 г. студенты этнографического факультета Географического института¹ разыграли «пантомиму-импровизацию» — «художественное изображение задач этнографии», сейчас это назвали бы «иммерсивным представлением». По сюжету Прекрасную Этнографию, дочь Антрополога Археологовича (в исполнении профессора Льва Штернберга), хотели украсть у отца Свирепый Историус и Грозный Географус, но ее спасли женихи — «метод разъездной, известный величиной», и «метод стационарный, рассчитанный на многие лета», при помощи Мудрого Шамана (в исполнении профессора Владимира Богораза) [Гаген-Торн 2009: 69–70]. Это сценка емко характеризует дискуссии среди этнографов 1920-х: опасность включения этнографии в более старые и авторитетные смежные науки уже тогда была вполне очевидна, а этнографы

Дмитрий Владимирович Верховцев
Независимый исследователь,
Санкт-Петербург, Россия
dverhovtcev@gmail.com

¹ В источнике Н.И. Гаген-Торн пишет про этнографическое отделение географического факультета ЛГУ, но институт был преобразован в факультет только в 1925 г.

школы Штернберга-Богораза видели спасение в особом этнографическом методе, который должен был стать ключевым аргументом в отстаивании независимости полевой дисциплины.

Из сегодняшнего дня эта аргументация кажется очевидной и правильной: в мировой антропологии уже почти сто лет общим мнением считается, что полевые исследования по методу включенного наблюдения есть самая важная и неотъемлемая часть этой науки, что ключевым образом отличает ее от социогуманитарных соседей. В антропологических энциклопедиях можно найти высказывания, что этнографическое полевое исследование как метод либо является одной из трех важнейших частей антропологии [Sanjek 2010: 244], либо вообще определяет ее как самостоятельную науку [Howell 2023 (2018)]. Томас Хюлланд Эриксен считал, что возникновение новой концепции полевой работы после Первой мировой войны радикально изменило дисциплину и относил Бронислава Малиновского, автора этой концепции, к числу отцов-основателей современной антропологии [Eriksen, Nielsen 2013: 33].

Действительно, за границей брак социальной антропологии и полевого метода оказался на редкость удачен. Например, в Великобритании, как пишет Фредди Фокс, Бронислав Малиновский и его ученики смогли представить «включенное наблюдение» уникальным, сложным и продуктивным методом, свойственным только антропологии; его особенности — долгое, в основном одиночное, пребывание в поле, постоянная рефлексия, ведение полевых записей и при этом необходимость супервизии (обсуждения с коллегами результатов работы на семинарах) [Foks 2020: 719]. Метод был принят многими британскими антропологами, в том числе оппонентами Малиновского, которые также его развивали и смогли выстроить границы с этнографами-любителями, еще в начале XX в. выполнявшими львиную долю всех полевых исследований, после чего в 1930-е антропология стала почти полностью университетской наукой. Границы выстраивались не только с любителями, но и с другими дисциплинами посредством созданной в 1946 г. Ассоциации социальной антропологии: она установила профессиональные стандарты работы антрополога, связанные с соблюдением полевой рефлексивной методики [Ibid.: 722]. И хотя дискурс идентификации антропологии с полевой работой на Западе не был единственным, как пишут Акил Гупта и Джеймс Фергюсон, «теоретики обобщения и компаративистики, которые доминировали в антропологии в середине века (такие, например, как Рэдклифф-Браун, Лесли Уайт и Джордж Мёрдок), оказались с течением времени мнемонически «отрезанными» от фамильного древа антропологии, в то время как работы тех, о ком помнят как о великих полевиках (Малиновский, Боас, Эванс-

Причард, Ленхардт и др.), продолжают все шире обсуждаться» [Гупта, Фергюсон 2013: 3].

Сейчас представление о критической важности поля для антропологии стало все больше проникать и в русскоязычную литературу, однако возникновение этой дискурсивной традиции следует отнести скорее ко времени перестроечных дебатов о судьбе советской этнографии, когда Валерий Тишков указал на необходимость ведения более длительной полевой работы по западному образцу, особенно для молодых исследователей [Tishkov 1992: 374]. Важность поля утверждается не только ссылками на западный опыт, но и ретроспективным обращением к отечественной традиции. Например, Дмитрий Арзютов замечал, что в России «до начала XX в. собственно этнографии как научной дисциплины не было, а как особое направление науки она смогла появиться лишь стараниями Л.Я. Штернберга и В.Г. Богораза» [Арзютов 2012: 241], связывая институционализацию этнографии с разработкой упомянутыми исследователями ее особой полевой методологии. Однако в другой работе, написанной тем же автором в соавторстве с Сергеем Алымовым, отмечено, что «несмотря на кризис 1960-х, “западная” антропология обладала, возможно, главным ресурсом — методом “включенного наблюдения”, который от детальной дескрипции, скажем, терминов родства был повернут в сторону не менее детального изучения практик. По другую сторону от “железного занавеса” этот метод, как мы могли видеть даже на примере одного совещания [1929 г.], не “прижился”, не совпав со стремлением этнографов описать историю той или иной группы, ее материальную культуру, но не задаваться вопросом о функционировании этих “элементов”» [Алымов, Арзютов 2014: 82–83]. Таким образом, историки отечественной этнографии говорят о давнем обсуждении особой рефлексии, свойственной полевому методу в России и СССР, но в то же время указывают, что эта линия не стала конституирующей для дисциплины и это во многом определило отличия от западного канона как отечественной полевой традиции [Гупта, Фергюсон 2013: 24], так и отечественной антропологии в целом.

Причины этого, казалось бы, лежат на поверхности. Как пишут Дмитрий Арзютов и Сергей Кан, советская и британо-американская антропология разошлись прежде всего из-за «историзации» в СССР и «социологизации» на Западе, поэтому «поле для первой будет играть все менее важную роль, для второй — принципиальную» [Арзютов, Кан 2013: 57]. Однако можно ли уложить все события, приведшие к снижению роли поля, в рамки процесса «историзации» и каковы были его причины — вопросы, требующие более подробного рассмотрения.

Несмотря на то что теоретические дискуссии о поле в раннем СССР в целом происходили одновременно с такими же обсуждениями в Великобритании и США, их исход был прямо противоположным: в советской этнографии полевой метод не стал главной отличительной чертой дисциплины, а институциональные проекты сторонников долгого и рефлексивного поля были разгромлены или постепенно зачахли. Выяснение причин этого и стало задачей настоящей статьи. Для ее выполнения продуктивно рассмотреть дискуссии о поле, гремевшие в ранние советские десятилетия, как попытку выстраивания границ (*boundary-work*) через фокусирование на новой парадигме особого этнографического метода. Такой ракурс уже применялся в исследованиях межвоенного периода как британской [Foks 2020] (отчасти [Mills 2010]), так и американской [Stocking 1995] антропологии. Рассмотрение процессов становления и изменения научных дисциплин через выстраивание границ восходит к работам Томаса Ф. Гьерина. По Гьерину, *boundary-work* — род идеологической дискурсивной деятельности, которая ведется учеными для целей экспансии дисциплины в новые области, монополизации авторитета и ресурсов, но что особенно важно в нашем случае — для защиты профессиональной автономии науки [Gieryn 1983: 792]. На этом определении мы и будем основываться.

Какие ракурсы помогают увидеть интересующие нас процессы в нужном освещении? Дэвид Миллс указывал, что успех новой дисциплинарной парадигмы зависит от четырех «и» — идей, индивидов, идентичностей и институтов [Mills 2010: 3]. Очевидно, прежде всего нас будут интересовать идеи, причем выраженные в публичном программном дискурсе, так как именно там, по Гьерину, происходит идеологическая работа выстраивания границ. Это отправная точка исследования, однако она неминуемо приводит к необходимости познакомиться со следующим «и» — индивидами, авторами программных и методологических текстов, участниками высоких президиумов и дискуссий в широких аудиториях. Тут нас настигнет третье «и» — институты, ведь именно их должны использовать наши герои, чтобы масштабировать свои методологические проекты и утверждать свой авторитет. Наконец, четвертое «и» — идентичности — выходит на сцену последним как результат усилий всех человеческих и нечеловеческих акторов этой истории. Кроме того, раннесоветский контекст настоящего исследования диктует гораздо более широкие экстерналистские рамки, чем у работ по истории западной антропологии: для него важное значение имеют такие экстранаучные факторы, как философские споры марксистов, планы и действия советского правительства по унификации и идеологической чистке науки,

репрессивные кампании и даже борьба за власть между большевиками различных направлений.

Итак, когда задачи, подходы и методы очерчены, мы можем вернуться в 1920-е, когда не только Лев Штернберг и Владимир Богораз в Ленинграде, но и другие советские этнографы были полны самых лучших ожиданий относительно будущего этнографии и предлагали амбициозные проекты ее устройства.

Смотрины женихов этнографии

В 1920-е гг. советская этнографическая наука действительно напоминала сцену, на которой разыгрывался спектакль становления и парадигмации. В публикациях, дискуссиях, прениях, отчетах и записках разные группы исследователей отстаивали собственный взгляд на то, какой должна быть советская этнография, заручаясь поддержкой политических акторов или пытаясь представить свою позицию как выражающую наиболее актуальные политические тенденции. В первое советское десятилетие сложилось несколько школ или профессиональных сообществ, которые имели особые взгляды на формирование этнографической парадигмы; школы развивались параллельно и во взаимодействии друг с другом, в целом не вступая в серьезные конфликты.

Самой известной и хорошо изученной является школа, в разных временных контекстах именуемая в историографических работах «ленинградской» [Ратнер-Штернберг 1935; Гаген-Торн 1971; Кан 2023; Вахтин, Лярская 2024], или «проектом Богораза» [Вахтин 2016; Лярская 2016]. Первое название возникло еще во времена существования этой школы на противопоставлении с московской школой этнографии, однако признать его точным можно только в буквальном значении — этнографическое отделение географического факультета ЛГУ действительно было единственной ленинградской школой, готовившей этнографов. Вместе с тем преподавателями и учениками этноотделения корпус ленинградских этнографов не исчерпывался, вполне можно говорить минимум о двух ленинградских школах¹. Что касается второго наименования — «проект Богораза», то оно охватывает скорее завершающий период функционирования более длительного явления, который можно назвать «школой Штернберга-Богораза». При этом среди ленинградских этнографов того времени было немало и учеников видного дореволюционного антрополога Федора Волкова, его школу часто называют «палеоэтнологической», или просто «школой

¹ О том, что раннесоветскую этнографию более продуктивно делить не на две, а как минимум на три школы, указывал в интервью Сергей Алымов [Напреенко 2021].

Волкова» [Платонова 2008б; Алымов 2017: 71, 76]. Что касается «московской» [Давыдов, Сирина 2017], или «культурно-исторической» школы [Алымов, Арзютов 2014: 54], восходящей к преподавателям и выпускникам кафедры антропологии МГУ, основанной Дмитрием Анучиным, то и она не определяла всецело московский дискурсивный ландшафт, так как альтернативный проект этнографии выдвигал Петр Преображенский, занимавший в конце 1920-х многие ответственные этнографические посты в МГУ.

Конечно, перечисленные школы не имели жестко очерченного состава приверженцев и четких противопоставленных друг другу программ. Скорее речь идет о континуальных сообществах, многие члены которых в разных ракурсах могут быть идентифицированы как приверженцы то одной, то другой парадигмы: они преподавали и работали в институциях оппонентов, участвовали с ними в одних экспедициях, вместе редактировали журналы и сборники. Многих из действовавших тогда этнографов в принципе трудно отнести к той или иной школе. Однако с точки зрения предмета нашего интереса, публичных дискурсов, «школы» — это прежде всего программные идеологические тексты, которые претендовали на формирование парадигмы расцветавшей в 1920-е гг. советской этнографии, и стоящие за этими текстами лидеры школ, в качестве постоянного ядра собиравшие вокруг себя коллег и учеников. Но состояние теоретического плюрализма, относительно свободной дискуссии между разными проектами быстро сворачивалось через искусственное обострение полемики между ними и призывы научного руководства к марксизации науки, для чего было организовано несколько специальных совещаний.

Совещание этнографов Москвы и Ленинграда 1929 г., которое было призвано начать марксизацию этнографии, стало важным событием, где представители школ открыто манифестировали свои взгляды, ярко очерчивая их особенности и отличия от взглядов конкурирующих школ. Очевидно, что за предыдущее десятилетие между ними сложился определенный баланс, который старались соблюдать и на Совещании, выделяя равное количество времени для выступления ленинградцев и москвичей [Стенограмма 2014: 301, 321]. Стенограмма заседаний этого совещания дает важный срез, благодаря которому мы можем увидеть окончательный теоретический облик первого, плюралистического, периода советской этнографии, ведь уже на самом совещании многие докладчики выступили с требованием унификации этнографической парадигмы и приведения ее в соответствие с учением советского марксизма. Произошло это гораздо быстрее, чем, вероятно, ожидали сами этнографы, что разрушило не только многие этнографические институты,

но и баланс школ. Уже с начала 1930-х можно говорить о школах не как о реальных, пусть пересекающихся и изменчивых сообществах, а лишь как об осколках порожденных прежде дискурсов, которые через десятилетие в разных пропорциях легли в основу новой единой советской этнографической парадигмы и определили новые дисциплинарные границы этнографии. Посмотрим на теоретическое разнообразие советских этнографических школ, когда их существование было все еще осязаемо — Совещание этнографов Ленинграда и Москвы 1929 г. стало главными и последними смотрами раннесоветской этнографии.

Пока цвели все цветы: школы и парадигмы

Перечисленные выше школы подошли к концу 1920-х гг. не в одинаковом состоянии. Школа Волкова почти все десятилетие в различных учреждениях Ленинграда была достаточно многочисленной и влиятельной, ее виднейшие представители занимали высокие административные посты. В руках Сергея Руденко «оказались сосредоточены многие нити управления наукой в Ленинграде» [Платонова 2008а: 151], важные посты занимали Александр Миллер, Борис Крыжановский, в руководстве «комплексных» экспедиций Комиссии по изучению племенного состава населения России и сопредельных стран (КИПС) конца 1920-х полностью доминировали ленинградские ученые, в том числе антропологи школы Волкова — Руденко и Давид Золотарев [Могильнер 2008: 472], в этнографических и антропологических учреждениях Академии истории материальной культуры (ГАИМК) значимыми фигурами были Золотарев [Иванова 2009: 263] и Миллер [Дмитриев 2019]. Однако во время проведения Совещания уже началась травля Руденко в ЛГУ, чуть более чем через год многие лидеры школы Волкова были арестованы [Платонова 2008а: 151]. Вероятно, из-за этих атак Руденко не выступал на Совещании, хотя и был еще главой Этнографического отдела Русского музея. Отголоски его травли многократно прорывались в выступлениях участников: Валериан Аптекарь называл Руденко «ученым, позиции которого совершенно неприемлемы для нашей современной марксистской науки, ученым, который является одним из знамен реакции» [Стенограмма 2014: 381]; в негативном ключе упоминал Руденко и выпускник этноотделения географического факультета ЛГУ Ерухим Крейнович [Там же: 305]. Золотарев, хотя и произнес несколько эмоциональных реплик на Совещании, не лез на рожон: свою критику доклада Богораза, достаточно предметную, он пытался представить «не столько разногласиями, сколько неточностями известной редакции» [Там же: 288]. Лишь Борис Крыжановский выступал с пленарным докладом о музейной

деятельности и отчасти освещал программу школы Волкова с высокой трибуны.

Обратная ситуация сложилась в отношении Петра Преображенского, чьи сильные административные позиции позволили ему выступить с собственной весьма оригинальной программой места этнографии-этнологии в системе наук. Программа, с одной стороны, опиралась на традиции историко-культурной школы Анучина, но, с другой — радикально порывала с ее естественно-научными традициями и не только рассматривала этнографию как часть истории, но и, напротив, включала историю в состав этнологии как всеобъемлющей метанауки, изучающей как доисторические, так и исторические общности [Преображенский 1929: 7].

Школа Штернберга-Богораза, находившаяся в 1929 г. в зените славы и могущества, на Совещании была представлена, помимо самого Богораза, многочисленными студентами, выпускниками и преподавателями этнографического отделения геофака Ленинградского университета. Она была известна широко поставленными полевыми исследованиями, участием своих основателей в знаменитой Джезуповской экспедиции Боаса, их революционным прошлым, а также тем, что Фридрих Энгельс ссылался на работы Льва Штернберга. Впрочем, положение школы не было безоблачным, так как основная институция, на которой основывалось воспроизводство школы, — этнографическое отделение — уже с 1927 г. после смерти Штернберга подвергалась «нежелательным» для школы преобразованиям [Ратнер-Штернберг 1935: 134]. Вероятно, чувствуя окончание плюралистической эпохи, лидеры этнографических мнений попытались в конце 1920-х представить на публичной сцене собственные идеологические проекты, какой должна стать единая унифицированная этнография. Богораз выпустил книгу «Распространение культуры на земле. Основы этногеографии» [Богораз-Тан 1928], которую можно рассматривать как его первую попытку сформулировать собственный проект этнографии. Это издание в том же году подверглось разгромной критике [Соловей 2022: 293], что, вероятно, стало для Богораза причиной сконцентрироваться в следующем году на другом козыре своей школы — особом стационарном методе полевого исследования, который он представлял прямым выражением метода исторического материализма [Стенограмма 2014: 113]. Таковую же заявку сделал Петр Преображенский, издав «Курс этнологии» [Преображенский 1929], который читал в виде лекций на этнологическом факультете МГУ.

Наконец, школу Анучина представляли преподаватели и выпускники так называемого антропологического цикла, кафедры

антропологии физмата МГУ, основанной когда-то самим Дмитрием Анучиным, а также близкие к ним по взглядам коллеги по московским этнографическим учреждениям. Анучинцы хотя и были многочисленны (с пленарными докладами выступали Сергей Толстов, Борис Куфтин, активно комментировали Виктор Бунак, Максим Левин и др.), однако не имели яркого лидера и скорее воспринимали в его качестве председателя этноотделения этнофака МГУ Петра Преображенского. Совпадая с ним во взгляде на этнографию как на историческую науку (формально с этим взглядом соглашались почти все участники Совещания), большинство анучинцев равнодушно относились к его проекту большой этнологии, включающей изучение не только бесписьменных народов. В представлении Анучина антропология рассматривалась как триада физической антропологии, археологии и этнографии, и эта схема сохранялась на его кафедре в 1920-е гг., распространяя свое влияние на отделы Музея Центральной промышленной области и Центрального музея народоведения. Анучинцы в своем большинстве имели конкретные интересы, связанные обычно с изучением материальной культуры этнографическим или палеоэтнологическим (археологическим) методом, и слишком широкая компаративистская перспектива, нарисованная Преображенским, этим интересам не была созвучна.

По каким параметрам школы выстраивали границы этнографии в своих публичных текстах и как это влияло на роль поля в их этнографических проектах?

Естественное и противоестественное: изгнание из этнографии естественно-научной составляющей

До революции все этнографические образовательные подразделения так или иначе имели естественно-научный профиль, а антропология и этнография часто воспринимались как изучение человечества методами естественных наук. Еще с 1880-х гг. в Петербургском и в Московском университетах кафедры географии и этнографии располагались на физико-математических факультетах [Платонова 2008б: 96]. Сам полевой метод был заимствован этнографами у ученых естественно-научного профиля, однако исследовательские задачи, которые ставили перед собой этнографы, лежали скорее в поле изучения культуры и истории. Эта двойственность постоянно побуждала видных этнографов и антропологов создавать проекты изменения сложившегося статус-кво и приближать в той или иной степени свою дисциплину к общественным наукам. Тем не менее к 1920-м гг. крупнейшие центры этнографического образования — Ленинградский географический институт (школа Штернберга-Богораза) и Анучинская кафедра антропологии в МГУ —

в рамках своих циклов обучения продолжали преподавание значительного числа естественно-научных дисциплин.

Лев Штернберг по дореволюционным меркам был скорее сторонником общественно-научного направления развития этнографии и называл ее «наук[ой] о человечестве и культуре», «из всех гуманитарных наук <...> по всеобъемлемости сам[ой] гуманитарн[ой]» [Ратнер-Штернберг 1935: 141]. Несмотря на это, он считал, что студентам была необходима «естественно-историческая» подготовка, в программу были включены такие предметы, как «физика, химия, анатомия, физиология, введение в биологию, астрономия, геоморфология, геология, почвоведение, метеорология с климатологией, введение в географию, география растений и животных и т.д.», потому что, кроме прочего, «естественные науки дают точный метод»¹ [Там же]. В опубликованной в 1914 г. программе по исследованию этнографии Сибири Штернберг пишет: «[Н]аблюдайте этнографические явления с такой же тщательностью, всесторонностью и объективностью, как натуралист изучает явления и объекты природы»; «старайтесь все, что возможно, зафиксировать инструментально и показательно-измерительными приборами, фотографическим аппаратом, рисунком и фонографом» [Штернберг 1914: 212].

Этого плана он и Богораз придерживались весьма строго, тем более что этнографическое образование по-прежнему осуществлялось в рамках естественно-научных институций — Географического института (1919–1925) и Географического факультета (1925–1929). Однако летом 1924 г. вовлеченные в марксистскую идеологию студенты устроили революцию снизу. Они считали, что обилие «естественной истории» мешает им постигать важные с точки зрения марксизма науки об обществе, и потому во время отъезда Штернберга и Богораз за границу направили в Москву собственный учебный план, исключавший все «естественное»; в Москве такое сокращение было поддержано [Ратнер-Штернберг 1935: 145]. Ратнер-Штернберг описывает эти события в явно неодобрительном ключе, однако не называет имен зачинщиков. Как можно узнать из стенограммы Совещания, студентом, который самолично ездил в Москву с учебным планом, был Ян Кошкин (Алькор). «[С]овместно с левой частью студенчества мы сделали маленький переворот», — заявлял он с гордостью. К 1929 г. Кошкин и сам уже преподавал на ленинградском этноотделении [Стенограмма 2014: 465]. Другой студент ленинградского этноотделения, Челезнев (возможно,

¹ Такое отношение разделял и один из лидеров школы Волкова — Сергей Руденко, который, будучи «страстным поборником сциентизма, рассматривал математику в качестве образцовой науки и призывал строить остальные науки по ее образу и подобию» [Китова 2013: 182]

фамилия записана неверно), выступая на Совещании, также сетовал, что «года 2–3 назад нам преподносили химию, физику, а не было курса советского строительства, не слушались некоторые экономические дисциплины и т.д. Сейчас это уже изжито» [Стенограмма 2014: 449].

В то же время изжить естественные науки из этнографии пытались не только студенты-марксисты, но и пришедшие в этнографию историки. Петр Преображенский приписывал себе отрыв Ленинграда от «естественнонаучной базы», вспоминая, как вел бесконечные дискуссии с Богоразом о «социологизировании, историзировании, экономизировании этнографического образования в Ленинграде» на площадке курирующих науку советских учреждений. По его мнению, «настоящая этнология или этнография, стоящая на исторической, а тем более на марксистской точке зрения, должна быть построена на базе общественных наук» [Стенограмма 2014: 455]. Естественно, что в программе возглавляемого Преображенским этноотделения этнофака МГУ был лишь минимум «естественных» дисциплин. Это оказалось увязано и с проблемой недостатка полевой подготовки на этнофаке, к чему мы еще вернемся.

«Антропологический цикл» Анучинской школы, так же как и дореволюционная петербургская антропология Волкова, стоял на «естественнонаучной базе» еще в большей степени. Несмотря на разногласия московских этнографов и петербургских антропологов, в столицах сложились схожие «палеоэтнологические» направления. В 1920-е гг. в школе Анучина видное место занимали физический антрополог Виктор Бунак (заведующий кафедрой и директор НИИ антропологии), археолог Борис Жуков и уже упоминавшийся археолог и этнограф Борис Куфтин. Такой сильный перевес в сторону более близких к естественным наукам составляющим «триады» по сравнению со школой Штернберга-Богоразы заставил кафедру антропологии сделать противоположный выбор в пользу отказа от преподавания этнографических дисциплин, оставив их этнографическому отделению этнофака. Толстов докладывал на Совещании, что во избежание параллелизма этнографический уклон на анучинской кафедре антропологии физмата МГУ был закрыт в 1926 г., и с тех пор этнография преподавалась там лишь как вспомогательный предмет [Стенограмма 2014: 429].

Отношения этнографии с естественными науками развивались в контексте эпохи, когда естественно-научное мировоззрение стало претендовать на участие в формировании новой идеологии и даже какое-то время соперничало с диалектическим материализмом за наиболее точное отражение сути марксизма [Яхот 1991: 56–57; Todes, Kremontsov 2010: 356]. В научном

дискурсе активно распространялась естественно-научная терминология, в том числе связанная с методами ведения исследований. Многие этнографы работали бок о бок с «естественниками» сначала в составе Комиссии по изучению естественных производительных сил (КЕПС, 1915–1930), а потом и Комиссии по изучению племенного состава (КИПС, 1917–1930), построенной по образцу КЕПС. В начале 1920-х гг., по данным корпуса русскоязычной литературы Google.Books, наблюдается взрывной рост использования таких словосочетаний, как «стационарный метод», «метод непосредственного наблюдения», «стационарное изучение», в публикациях, касающихся в основном пока еще только естественных наук (ил. 1). Но идеологическое позиционирование учеными данной методологии как наиболее передовой и перспективной притягивало к ней в том числе этнографов.

Ко времени Совещания 1929 г. в советской науке уже несколько лет продолжалась дискуссия механистов и диалектиков. Кратко суть воззрений этих философских лагерей можно охарактеризовать так: механисты восхищались начавшимся новым этапом естественно-научного поворота и считали, что физико-химические и математические методы анализа живой природы и являются настоящим философским марксистским материализмом, тогда как диалектики считали такой подход вульгаризацией марксизма, подлинная суть которого заключена в материализме диалектическом [Яхот 1991: 55–56]. По существу, программа механицизма была попыткой ученых-практиков выстроить границы с нарождающейся новой «красной профессурой», провозглашавшей примат диалектического материализма не только над общественными науками, но и над науками вообще. Аптекарь в своем выступлении упоминает дискуссию механистов и диалектиков и удивляется, почему другие докладчики не говорят о ней, «пропустили такого кита» [Стенограмма 2014: 198]. Сам он прямо относит себя к диалектикам [Там же: 194] и применяет «диалектическую» аргументацию к этнографии: не может быть у марксистской науки «внутренней» методологии, кроме диалектического материализма. В современном издании стенограммы Совещания указывается, что среди его участников откровенным механистом был только председательствовавший на заседаниях руководитель Главнауки Мартын Лядов [Алымов, Арзютов 2014: 29]. Он оппонирует Аптекарю, справедливо замечая, что фактически обвинение в механицизме было брошено всей этнографии [Стенограмма 2014: 241]. Склонность к механицизму была подмечена и в положениях книги Богораза «Распространение культуры на земле», за что уже в предисловии ее критиковал историк Сергей Ковалев [Алымов, Арзютов 2014: 45]. В этой связи стоит присмотреться



Ил. 1. Частота встречаемости естественно-научной методической терминологии в русскоязычном корпусе Google.Books.
На оси абсцисс — годы, на оси ординат — частота встречаемости термина среди всех n-словных сочетаний в корпусе
(построено в Ngram Viewer)

также к репликам других участников, которые не упоминают механицизм напрямую, но настаивают, что у этнографии может быть собственная методология, не противоречащая марксизму.

Николай Маторин прямо ссыался на дискуссию механистов и диалектиков, и хотя формально «не хотел солидаризироваться с механистами», однако, по сути, упрекал Аптекаря в повторении нерелевантных аргументов предводителя диалектиков Абрама Деборина [Стенограмма 2014: 218]. В своем докладе Маторин ставит этнографию в один ряд с такими науками, как «математик[а], физик[а], хими[я]», связанными не только с техникой, но и с «практическими процессами хозяйственной деятельности» [Там же: 141]. То же можно сказать о Богоразе, который прямо увязывал марксизм с естественными науками: «Я думаю, что только марксистский метод, который [мы] хотим ввести в этнографию, будет плодотворным, и тогда технические подходы будут подходами естествоиспытательскими, когда мы сравнимся с ними в точности» [Там же: 334–335]. Очевидно, многие этнографы в гораздо большей степени сочувствовали механистам и надеялись, что едва начавшиеся методологические наработки этнологии-этнографии удастся сохранить, однако на площадку уходящего поезда механицизма они вскочили за минуту до его катастрофы. Параллельно с этнографическим совещанием в Москве проходила Конференция научно-исследовательских марксистских учреждений (Маторин инициировал направление коллективного приветствия ее участникам от совещания этнографов [Там же: 305]), и именно на ней была окончательно оформлена победа диалектиков. В ближайшие два-три года стало ясно, что иного метода, кроме диалектического, у советских наук быть не может и попытка выстроить идентичность и границы этнографии на каком-либо собственном методе, даже основывающемся на постулатах советского марксизма, обречена на неудачу.

Крах механистического проекта ударил по всем школам советской этнографии, но в разной степени. Школа Штернберга-Богоразы (с позиций которой отчасти выступал на Совещании Маторин) ставила в центр этнографической парадигмы метод (полевой работы), а не объект изучения — она лишалась этого аргумента и способа отстроить границы этнографии. Попытка миметического сопротивления не удалась, так как марксистский «мимезис» Богоразы оказался недостаточно глубоким. В последующем он предпринял третью попытку поучаствовать в создании общей парадигмы, сделав ставку на еще одну сильную сторону своей школы — на участие этнографов в практической работе и советском строительстве. Эта деятельность отчасти продлила жизнь школе, но уже в измененном виде, который описывается сегодня исследователями как «проект Богоразы».

Общая установка на главенство диалектического материализма подкосила и проект «большой этнологии» Преображенского, основой которого был особый исторический или этнологический метод, хоть и не связанный с естественными науками. Вероятно, наименьшее влияние результат философской дискуссии оказал на судьбу школ Волкова и Анучина, потому что их ожидали гораздо более серьезные проблемы, чем методологические споры, — арест лидеров (Руденко, Золотарев, Миллер, Крыжановский, Куфтин, Жуков) или их вынужденный уход с административных постов (Бунак) [Дубов 2001: 124; Могильнер 2008: 463].

Изнутри или снаружи? Как изучать культуру

Важным различием позиций разных школ советской этнографии была приверженность к внешнему (etic) или внутреннему (emic) взгляду на изучаемые культуры. Сергей Алымов и Дмитрий Арзютов использовали это противопоставление для обозначения позиций Куфтина и Богораза на Совещании в самых разных аспектах, касавшихся исследования материальной культуры и подготовки полевого работника [Алымов, Арзютов 2014: 61]. Кажется, emic-ориентация полевых этнографов должна противоречить естественно-научным истокам полевой методики, описанным в предыдущем разделе, ведь в естественных науках возможен только внешний взгляд ученого-наблюдателя. Однако можно утверждать, что возникновение именно в рамках школы Штернберга-Богораза попытки увидеть культуру изнутри логически вытекает из развития рожденной этой школы «полевой» парадигмы этнографии.

Еще в начале XX в. в статье «Этнография» для энциклопедического словаря Лев Штернберг едва заметно намечает программу полевой рефлексии, поиска контекста и внутренней точки зрения на культуру. В специальном разделе «методы наблюдения и обобщения» (sic!) он пишет о необходимости особого подхода к наблюдению, недостаточности простого «собираания фактов»: «[Ж]изнь чуждого по культуре и умственному складу народа недостаточно наблюдать — необходимо в ней отыскивать то, что может оставаться скрытым от непосвященного» [Штернберг 1904: 187]. В этом можно увидеть первый шаг к полевой рефлексии, признание наличия скрытого плана наблюдаемой реальности, недоступного при простом осмотре.

В текстах Штернберга мы не найдем явно выраженной emic-позиции исследователя, зато она оказалась отчетливо сформирована его соратником Богоразом, который отобразил ее в ставшем расхожим афоризме: «Полевой этнограф должен скормить туземным вшам 2 фунта своей крови, чтобы понять

его [человека] быт. Это означает, для того чтобы изучить культуру, нельзя чуждаться ни невежества, ни грязи, ни голода. Вы должны сами это претерпеть» [Стенограмма 2014: 263]. Этнограф, говорит Богораз, должен полноправно участвовать в трудовых процессах, жертвоприношениях и «производстве заклинаний», но главный способ смены перспективы, к которому он призывает, — активно привлекать «самых туземцев» к сбору этнографического знания: организовать, чтобы они сами вели записи, делали рисунки и чертежи, хотя и под контролем этнографа. «Самая “плохая” автобиография лучше искуснейшей биографии, написанной исследователем со стороны»; «Идеалом полевого исследования является работа местных людей, русских и туземцев», — заявляет Богораз [Там же: 263, 264]. Хотя в такой постановке вопроса по-прежнему последнее слово остается за ученым, который готовит «туземца» к сбору материала по культуре его группы и анализирует произведенные этнографами-туземцами полевые материалы, однако это сильно отличается от взглядов остальных школ, по-прежнему видевших в полевой работе внешнее наблюдение с позиций рациональной науки, и может рассматриваться как довольно ранняя нереализованная попытка сформулировать принципы коллаборативной (соучаствующей) этнографии.

Выступивший на Совещании с докладом Куфтин рельефно осветил взгляд анучинской школы на инновации, предлагаемые Богоразом. Он вполне одобрял и стационарный метод, и основные его положения, но, очевидно, (как и Левин в своей реплике-комментарии) относился к предложениям ленинградцев как к недостижимому идеалу. Представляя позицию, с которой этнографические данные нужны прежде всего для исторических реконструкций (в интеграции с данными археологии и физической антропологии), Куфтин просто не находил целей, кроме усвоения языка, для которых долгое поле, требуемое, чтобы понять культуру изнутри, было бы критически необходимо. Фактически ученые школы Анучина предлагали не интенсификацию полевого метода (как Богораз), а экстенсификацию: крупные комплексные экспедиции, включающие разных специалистов и переключение фокуса на дискретный и легко идентифицируемый материал, прежде всего на предметы материальной культуры, а не социальный контекст их бытования [Стенограмма 2014: 54, 63]. Еще лучше эту позицию можно увидеть на примере текстов Сергея Толстова.

На Втором совещании этнологов Центрально-промышленной области Толстов читал особый доклад «Вопросы согласования методов полевых этнографических исследований». Его главный фокус был направлен на исследование материальной культуры, но Толстов также сформулировал много важных замечаний

относительно «этнологического метода», касавшихся специальной подготовки к работе с каждой конкретной категорией объектов (построек, орудий труда, транспорта и пр.) и неверности расхожего мнения «о доступности едва ли не каждому этнологическим наблюдений» [Толстов 1929: 36]. Необходимым для полевого работника он считал в первую очередь изучение разделов техники, «оперирующих с аналогичными явлениями в более развитых формах». Призывая издать сборник инструкций для облегчения работы полевиков, Толстов приводит примерный план этой брошюры, где мы видим лишь позитивистскую тематическую категоризацию культурных сфер, в центре которой прежде всего виды хозяйственной деятельности [Там же: 36]. Упомянутая в его тексте обязательность «длительного наблюдения народной культуры» [Там же: 39], по сути, остается ритуальной данью этнографической моде, а описанный техницизм и максимально внешний (etic) взгляд на полевое исследование через много лет станут отличительной чертой всей советской этнографии.

Богораз в своем докладе на Совещании набрасывается именно на такого рода воззрения: «[Д]о сих пор, — говорит он, — выдвигаются попытки “немного комплекса”: археология, антропология и т[ак] н[азываемая] материальная культура музейного типа, то есть регистрация видимых предметов без объяснения словами. Создается опасная психология у самого исследователя, дилетантский подход, невольное презрение к данному народу, вульгаризация работы» [Стенограмма 2014: 260]. Очевидно, что его критика была направлена прежде всего на две «палеоэтнологические» школы — московскую Анучина и ленинградскую Волкова, не зря этому обвинению активнее всего оппонировали Левин и Золотарев [Там же: 288, 298]. Толстов также критикует метод «вживания»: «Здесь как бы отрицание возможности объективного документального изучения. Я не говорю о том, что В[ладимир] Г[ерманович] этого не делает. Но, исходя из его положений, можно легко до этого докатиться», — и в ответ формулирует уже известную нам etic-программу «объективной» полевой работы: «Как противоядие нужно выдвинуть то, над чем работает группа московских этнологов, а именно — детальная разработка, точная документация и фиксация материала» [Там же: 304].

В целом большинство советских этнографов можно назвать в разной степени приверженцами etic-парадигмы, которая ставила в центр этнографического исследования самого этнографа с его теоретическим компаративистским инструментарием, знанием техники и широкой историко-культурной эрудицией. Это располагало к восприятию полевой работы как механического сбора унифицированных данных, не требующего методо-

логической изошренности и глубокого проникновения в социальный контекст. Приведенный выше проект «инструкций» Толстова служит самой яркой иллюстрацией такого подхода, где основные проблемы полевого исследования связаны с организацией экспедиций и знанием материально-технической стороны изучаемых явлений. Это же определяло отношение к другой важной теме, о которой велись споры в конце 1920-х: кто может собирать этнографические материалы — немногочисленные, но имеющие профессиональную подготовку этнографы или к этой работе можно привлекать более многочисленных краеведов?¹ По сути, участие краеведов в сборе этнографических материалов отвергали только Богораз и его ученики. Это никак не вписывалось в его *etic*-настрой. Немногочисленность профессиональных этнографов он предлагал преодолевать другим путем — подготовкой этнографов из «местной» среды.

В то же время наиболее радикальную *etic*-позицию занимал Преображенский, бывший, по ироническому замечанию Николая Яковлева, лишь «начинающим полевым работником» [Стенограмма 2014: 315]. Его масштабный проект этнологии решал вопрос деколонизации истории [Преображенский 1929: 7], и за амбициозными задачами вопрос о значении поля для этнографии или этнологии просто терялся. Отличительной особенностью этнографии он считал метод, но отнюдь не полевой, а «исторический» — метод широких сравнений и сопоставлений, позволяющий понять, как распространялась культура на Земле.

Хотя, как было сказано выше, проект «большой этнологии» не успел собрать вокруг себя большой группы приверженцев, однако к концу 1920-х гг. в этнографии подвизалось достаточно историков разного направления, которые в целом могли бы согласиться с Преображенским относительно тождественности этнографии и истории. В Совещании 1929 г. участвовали историк первобытного общества Владимир Никольский, арабист Исаак Винников, антиковед Евгений Кагаров и многие другие, привлеченные в этнографию исключительно ее предметом — древними обществами, но не полевым методом. Скажем, в обобщающей статье Кагарова для определения границ дисциплины было собрано значительное количество высказываний ученых со всего мира, касающихся лишь предмета ее изучения и отчасти ее задач [Кагаров 1928]. Такого рода этнографы-историки, естественно, вовсе не интересовались методологией полевой работы и избегали рассуждений о ней. Позиции этой категории

¹ См. подробнее об этой дискуссии в статье настоящей подборки: [Петрашин 2025].

участников Совещания, как ни странно, выразил Сергей Токарев, в будущем известный и влиятельный советский этнограф, о чем еще будет сказано. Рассмотрим теперь, как все описанные черты предлагавшихся в конце 1920-х парадигм влияли на восприятие полевой работы.

Поле — смысл этнографии или лишь способ получить данные?

Историки раннесоветской этнографии сходятся во мнении, что школа Штернберга-Богораза была на переднем крае полевой теории в СССР, и именно вокруг поля Богораз пытается выстроить новую парадигму в своем выступлении на Совещании 1929 г. История развития полевого уклона этой школы во многом напоминает историю Бронислава Малиновского, с проектом которого так часто сравнивают воззрения Штернберга и Богораза [Алымов, Арзютов 2014: 59; Головнев 2018: 19; Вахтин, Лярская 2024: 35]. Малиновский, имея отчасти вынужденный опыт многолетней полевой работы в Меланезии, концептуализировал его в особый метод, пронизанный глубокой исследовательской рефлексией как во время самой полевой работы, так и после, при представлении ее результатов. Штернберг и Богораз шли тем же путем: их вынужденное долгое поле в Сибири в качестве политических ссыльных было, конечно, в гораздо большей степени связано с лишениями и трудностями, чем у Малиновского, и привело к тем же выводам о необходимости полевой рефлексии и более глубокого познания культуры при длительном нахождении внутри нее. Так же как и Малиновский, они считали важным изучение этнографом языка исследуемых сообществ, сначала преподносившееся как настоячивое пожелание [Штернберг 1904: 187; 1914: 212], а к концу 1920-х ставшее категорическим императивом [Стенограмма 2014: 260].

На вопросе знания этнографом языка своего поля стоит остановиться подробнее: он стал важным параметром для идентичности приверженцев школы Штернберга-Богораза, отграничивающим ее от других направлений этнографической мысли. В многочисленных противопоставлениях «ленинградской» и «московской» школ хорошая языковая подготовка всегда указывалась (обычно ленинградцами) как преимущество первой. Этот дуализм был виден уже в работе Совещания 1929 г. Владимир Никольский из президиума концептуализировал противостояние «москвичей» и «ленинградцев» как оппозицию кабинетников-музейщиков и полевиков, используя образы «городского кота» и «полевой мыши» из карикатуры, ходившей по залу среди участников [Стенограмма 2014: 321].

В своей программной работе «Распространение культуры на земле» Богораз жестко критикует «особую русскую школу полевой этнографии», которая «знание туземных языков не считает для себя обязательным» [Богораз-Тан 1928: 37], очевидно имея в виду не только москвичей, но и других ленинградцев. Владимир Давыдов и Анна Сирина по итогам изучения материалов Тунгусской экспедиции 1927–1928 гг. сочли популярное разделение этнографии на «ленинградскую» и «московскую» школы не соответствующим реальному положению дел, исходя из следующего обобщенного описания «московской» школы: «[С]ложилось представление, что московская школа, в отличие от ленинградской, занималась изучением современности, не проводила стационарных полевых исследований, а ученые не знали и не стремились изучить языки исследуемых народов» [Давыдов, Сирина 2017: 41]. Этот образ авторы назвали «искусственным» и «инерционным» и указали, что две школы не стоит рассматривать в качестве антиподов.

Эта критика, очевидно, справедлива, и описания «московской» и «ленинградской» школ, сложившиеся в отечественной историографии, зачастую чрезмерно поляризуют установки школы Штернберга-Богораза и последователей Анучина. Однако, как кажется, с позицией Давыдова и Сириной, вовсе стирающих различия между школами в части изучения языков и приверженности стационарному методу, согласится трудно. Большинство представителей школы Анучина, выступавших на Совещании 1929 г., действительно соглашались и с тем, что стационарный метод — лучший способ проведения полевых исследований, и с тем, что этнографу необходимо знать языки своего поля. Куфтин указывал, что «стационарная работа специалиста <...> в продолжение нескольких лет вызывается, во-первых, задачей полного усвоения бесписьменного и еще малоизученного языка народности <...> и, во-вторых, лучшей возможностью <...> сжиться с изучаемой народностью и более органически опытно проникнуть в ее уклад и идеологию. Весьма желательно в этом случае, чтобы исследователь в своей частной жизни, особенно в пище, труде, сливался с изучаемой народностью и не становился в отношении ее в особое положение» [Стенограмма 2014: 275]. Это вполне соответствует словам из доклада Богораза: «[Н]еобходима физическая близость, личное восприятие бедности, холода, голода, участие в труде, участие в празднествах. Между тем полевые исследователи, прибывшие со стороны, порой опасаются жить с туземцами и живут отдельно. Отсутствие общего быта мешает работать» [Там же: 263]. Однако в отличие от Богораза, который считает стационарный метод фактически единственно возможным, Куфтин приемлет и «краеведный» метод для

широкого сбора материала, необходимого для сравнительных исследований [Стенограмма 2014: 276].

Максим Левин также сперва соглашается с важностью стационарного метода как идеального типа исследования, но затем указывает на отсутствие средств и времени у этнографов для такой работы. С одной стороны, он отрицает, что в каких-то музеях еще продолжается сбор материальных предметов без фиксации их социального контекста, но, с другой — оправдывает недостаточное внимание к контексту необходимостью собирать материальные объекты у этнических групп, культура которых может полностью исчезнуть¹, тогда как предметы останутся в музеях и будут доступны для изучения [Стенограмма 2014: 292]. «Тов. Левин, вы хорошо делаете, — оппонирует ему ленинградец Ерухим Крейнович, — что ездите в поле, хватаете предметы. Но ту роль, которую они играют в этнических группах, вы выяснить в короткое время не сможете» [Там же: 307].

На ленинградском этноотделении смогли полностью реализовать этот идеал только к 1925–1926 гг., когда позволили материальные условия, хотя Штернберг много лет считал стационарный метод *sine qua non*² плодотворного этнографического исследования [Ратнер-Штернберг 1935: 146]. Конечно, все советские полевые школы применяли элементы разных вариантов как стационарного, так и экспедиционного метода, но принципиальные различия формировались приоритетами, которые влияли на выбор способа полевого исследования в условиях ограниченных ресурсов. Например, в то время как в Ленинграде первые же свободные средства пускались на организацию стационарных полевых исследований студентов, на этноотделении в МГУ студенческую полевую практику финансировали по остаточному принципу [Стенограмма 2014: 431]. Теоретически в школе Анучина готовы были признать плодотворность долгого поля и изучения языков, но фактически главной целью считали сбор дискретного однородного материала, который можно было бы использовать в сравнительных обобщениях. Ради его получения ученые легко мирились с недостижимостью идеала — необходимостью меньше времени проводить в одном месте ради более широкого охвата, использовать переводчиков и привлекать непрофессионалов-краеведов. Теми же соображениями руководствовался Золотарев, давая вежливую отповедь

¹ Идея «спасательной этнографии» была довольно популярна в европейской антропологии и часто становилась оправданием сомнительных методов сбора этнографических коллекций. На Западе эту концепцию начали серьезно критиковать в 1960-е гг. [Gruber 1970], но на постсоветском пространстве она находит приверженцев и в настоящее время.

² *Sine qua non* (лат.) — необходимое условие.

Богоразу за термин «полевая этнография», символизирующий отождествление дисциплины с полевой работой, и указывая на подготовку к полю и сравнительный анализ собранного материала как не менее важные части работы [Стенограмма 2014: 287]. Крыжановский же в докладе о музейном деле призывал создавать этнографические станции, но также направлять музейных этнографов в экспедиции, командировки, устанавливать связь с «корреспондентами на местах» — краеведами [Там же: 354].

Так же как Малиновский, Штернберг и Богораз основывали свой проект на подготовке новых кадров в выбранной парадигме и выстраивали идентичность через полевой семинар, где студенты-новички, практикующие исследователи и умудренные профессора встречались, чтобы обсудить результаты полевой работы. Созданный в 1923 г. кружок студентов Штернберга и Богораз не только организовывал «экскурсии», но и направлял работу по обработке их результатов, устраивал совместные обсуждения и выставки [Ратнер-Штернберг 1935: 143]. Полевой символ веры ленинградского этнографического образования был отчетливо виден в описании майской выставки работ студентов-практикантов ЛГУ 1927 г. В центре «методического отдела» была помещена «Программа по полевой этнографии» Богораз, а в «отчетном отделе» экспонировался «сырой материал, это записи на листках и в тетрадях, документы и пр., которые сдаются в Этнографическую Экскурсионную Комиссию и составляют работу студентов» [Молл 1927: 6]. То, что выпускники ленинградского этноотделения выстраивали свою профессиональную идентичность вокруг полевого метода, видно и из писем уезжавших на год и больше в поле студентов, которые они адресовали своему учителю Богоразу [Вахтин, Лярская 2024: 33].

Ярким примером усвоения новой полевой парадигмы учениками Штернберга-Богораз служат их многочисленные выступления в поддержку стационарного метода на Совещании 1929 г. Например, Крейнович поддевал ученика Волкова Руденко за страх перед туземными блохами [Стенограмма 2014: 305] в соответствии с упоминавшимся афоризмом Богораз о необходимости скормить два фунта своей крови этим насекомым. Еще более горячим адептом стационарного метода представлял Григорий Петров, выпускник, а впоследствии преподаватель этноотделения ЛГУ. Описывая работу Льва Штернберга на Дальнем Востоке в части физической антропологии, он указывал: «Перед антропологом во весь рост встает необходимость использования стационарного метода собирания материалов. Антропологические “поездки” и “экскурсии” отживают свой век. На смену им идут длительные, быть может, многолетние, экспедиции в ограниченные географические районы» [Петров 1933: 640]. Далее,

вслед за цитатой из Штернберга о значительном переплетении в регионе различных групп, Петров добавляет: «Совершенно очевидно, что при такой сложности племенных взаимоотношений единственно правильным методом антропологического изучения может быть лишь стационарный метод. Всякий иной метод может, вместо пользы, принести лишь вред и не только не распутать дела, а еще больше его запутать» [Петров 1933: 661].

Происхождение особого стационарного метода Штернберга и Богораза, наиболее вероятно, не связано с работами Малиновского, так как вполне может быть объяснено ссыльным опытом и влиянием Франца Боаса. Однако вдохновляющий пример польско-британского исследователя был хорошо известен Богоразу и наверняка убеждал в верности выбранного пути. В своей книге советский этнограф одобрительно указывал на «ряд превосходных работ», происходящих преимущественно из «областей английской культуры» и «основанных на многолетнем изучении данной области при полном усвоении туземного языка и глубоком проникновении в психологию и общественность изучаемой культуры» [Богораз-Тан 1928: 31]. Хотя прямая ссылка на Малиновского в этом месте отсутствует, однако его работа упоминается через несколько страниц.

Заключение: перед водопадом

Политические события в СССР в 1927–1929 гг. по усилению централизации во всех сферах затронули и науку. С одной стороны, увеличилось финансирование научной и образовательной деятельности, с другой — от ученых требовали перейти на «марксистские рельсы», отказаться от «буржуазных» концепций и активно участвовать в строительстве социализма. Этнографические институты и теоретические школы должны были доказать свою приверженность новому курсу, и это вынуждало лидеров советской этнографии выйти на публичную сцену и представить собственные проекты будущего своей дисциплины, с одной стороны, подтверждающие верность марксизму, а с другой — отстаивающие само существование молодой дисциплины в новых условиях. Спокойное течение реки этнографической жизни, где отдельные потоки теоретической мысли прежде мирно сосуществовали, не смешиваясь и не конфликтуя, приближалось к водопаду, в турбулентности которого многое должно было поменяться, и этнографы уже явно слышали его рев и грохот. Подстегиваемая извне, теоретическая мысль советских этнографов кристаллизовалась в ряд текстов и публичных выступлений, прежде всего связанных с Совещанием 1929 г., которые мы можем рассматривать в качестве карты представлений об этнографии как она есть и какой она должна была стать в будущем.

Условно мы разделили советскую этнографию на четыре дискурсивных центра, которые в 1920-е гг. формулировали заявки на формирование советской этнографической парадигмы: это две ленинградские школы Волкова и Штернберга-Богораза, московская школа Анучина и авторитетный московский администратор и этнограф Петр Преображенский, также составивший собственный проект этнологии. Как было показано выше, не все школы сохранили свое влияние к 1929 г., и «волковцы» по ряду причин не смогли принять участие в выборе пути. Школа Штернберга-Богораза, заслуги которой на ниве полевых исследований были признаны этнографическим сообществом, на Совещании сделала ставку на отождествление полевого метода и всей дисциплины. За несколько лет, пока стационарный метод развивался на базе этноотделения геофака ЛГУ, Богоразу и его ученикам удалось продвинуться достаточно далеко, определив в качестве необходимых такие составляющие исследования, как долгое пребывание в поле, знание местного языка, «вживание», чтобы увидеть культуру изнутри. Эта программа была идентична методу включенного наблюдения, развивавшемуся в Великобритании Малиновским.

И здесь мы действительно можем противопоставить воззрения школы Штернберга-Богораза и позиции школы Анучина, в которой главной целью этнографического исследования постулировались культурно-исторические сравнения. Само по себе это не противоречило признанию важности знания языков, стационарной работы и понимания культуры изнутри, однако ставило приоритетом полевой работы широкий сбор массового дискретного материала, пригодного для количественной оценки и массового сопоставления, и ради этой цели допускало компромисс в части длительности полевого исследования и глубины погружения в местную культуру. Более того, наибольшую важность здесь приобретала не полевая работа, а сам материал, изучать который можно было и вне поля. Наиболее ярко эту позицию формулирует молодой Сергей Токарев: «Я знаю, что полевая работа чрезвычайно полезна не только для собирания материала, но и для чисто исследовательской работы. И в то же время я выскажу мнение, что эта работа для исследователя не является необходимой, и вот почему. <...> Историческое исследование не требует непременно личного знакомства со всеми изучаемыми материалами. Точно так же и в этнологии мы имеем целый ряд случаев, когда личное знакомство с объектами изучения просто невозможно или потому что данная народность исчезает, или потому что ее культура перестала существовать как нечто особое (например, камчадалы), или потому что народ живет так далеко, что к нему не попадешь» [Стенограмма 2014: 316–317]. В таком виде сближа-

лись позиции двух московских проектов этнографической парадигмы, школы Анучина и амбициозного Петра Преображенского: прежде всего важны компаративистские исследования, а полевая работа — это всего лишь один из способов собрать для нее материал.

По сути, на данном этапе поиск новой парадигмы закончился неудачей для всех школ советской этнографии. Их лидеры, создавая дискурсивные идеологические конструкции, выстраивали границы со смежными дисциплинами (историей или, напротив, естественными науками), но не пытались провести разграничение с доминирующим в общественно-политической сфере марксистским дискурсом, вероятно, считая это просто невозможным. Обычно выбиралась стратегия миметического сопротивления, когда в духе философии механистов этнографы пытались представить собственные концепции как выражение марксистского учения. Однако попытка играть на этом поле автоматически делала их аутсайдерами: гораздо больше прав на высказывания о сущности марксизма имели представители нового поколения марксистских активистов, представлявших особые идеологические учреждения вроде Комакадемии. С таким активистом — Валерианом Аптекарем, не являвшимся собственно этнографом, но прямо призывавшим к ликвидации этнографии от имени марксизма, представители школ были вынуждены заигрывать, пытаться привлечь его в союзники по продвижению своих парадигм. Никольский шутил, что Аптекар — персонификацией дубинки диалектического материализма, и справедливо замечал, что «[к]уда ее ни направить, всякое иное мнение окажется маслом, сквозь которое нож свободно проходит и режет по инерции, направо и налево» [Стенограмма 2014: 321].

Этнография оказалась беззащитна не перед «Свирепым Историсом» и «Грозным Географусом», а перед политическим марксистским дискурсом, который гораздо лучше освоили ученики академика Марра, получив возможность выступать от имени главенствующей идеологии. В отличие от предшествующего десятилетия, ситуация развивалась стремительно, река этнографии быстро достигла водопада и обрушилась вниз. В ближайшие несколько лет ключевой фигурой станет ленинградец Николай Маторин, наиболее «марксизированный», но все-таки профессиональный этнограф: он займет несколько важнейший административных постов. Эта короткая эпоха (1929–1934) будет жить уже совсем другими законами, дискуссия школ уйдет в небытие, как и сами школы, ни одна из которых не избежит институциональных потерь и прямых репрессий против своих приверженцев. Но наследие рассмотренной нами плюралистической эпохи, ярко представленное на «смотре» 1929 г., останется,

как останутся и уцелевшие после увольнений и репрессий этнографы, воспитанники школ и участники этих дискуссий. Из обломков будет собрана новая советская этнография, но далеко не сразу, а через года, уже после того как будет сломлен даже марксист Маторин, который сам зачитает декларацию ликвидации этнографии в 1932 г. [Резолюция 1932: 9–14], после нескольких молчаливых лет, когда прекратятся не только дискуссии, но и вообще попытки породить единый проект этнографии. Мы знаем, что в конце концов в основу нового этнографического здания лягут идеи школы Анучина, но по причинам скорее политическим и организационным, чем научным. Впрочем, все это заслуживает гораздо более внимательного рассмотрения.

Пока же останемся в весне 1929 г., когда мнения Богораза, Преображенского, Токарева, Толстова и других были одними из многих голосов в плюралистическом обсуждении судьбы этнографической науки. Доклад Аптекаря об упразднении этнографии в той или иной форме был осужден почти всеми участниками Совещания: корифеям дисциплины еще казалось, что процесс «марксизации» хоть и неизбежен, но может пройти безболезненно, с сохранением существующих подходов и институтов. На групповой фотографии у входа в ГАИМК сторонник «полевой парадигмы» Владимир Богораз еще выглядит патриархом, стоящим среди паствы, занимая центр композиции и направляя свой взгляд прямо в объектив, тогда как другие этнографы в основном уважительно полуразвернуты в его сторону (ил. 2). Алымов и Арзютов, комментируя публикацию



Ил. 2. Участники Совещания этнографов Москвы и Ленинграда 1929 г. [АМАЭ РАН. Ф. К-IV. Ед. хр. 29]; опубликовано в [Алымов, Арзютов 2014: 46]

стенограммы Совещания, характеризуют это мероприятие как «короткий период в истории отечественной этнографии, когда многое казалось возможным и самые смелые эксперименты представлялись осуществимыми» [Алымов, Арзютов 2014: 83]. И действительно, воспользовавшись относительной свободой первого советского десятилетия, этнографы породили сразу несколько необычных проектов, каждый из которых мог бы стать достойным женихом Прекрасной Этнографии и спасти ее от любых Историусов и Географусов, но не от всепильного советского государства. Немногие из женихов дождались новой возможности предложить своей даме руку и сердце, и среди них уже не было ни Разъездного метода, «известного величиной», ни Метода стационарного, «рассчитанного на многие лета».

Список сокращений

АМАЭ РАН — Архив Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН

ГАИМК — Государственная академия истории материальной культуры

КЕПС — Комиссия по изучению естественных производительных сил

КИПС — Комиссия по изучению племенного состава населения СССР

Источники

Гаген-Торн Н.И. Memoria: воспоминания, рассказы. М.: Возвращение, 2009. 400 с.

Напреенко И. «Сейчас антропологом может себя назвать более-менее кто угодно». Историк Сергей Алымов — о том, как развивались этнография и антропология в России с XIX века по наши дни // Горький Медиа. 2021, 7 нояб. <<https://gorky.media/context/sejchas-antropologom-mozhet-sebya-nazvat-bolee-menee-kto-ugodno/>>.

Резолюция всероссийского археолого-этнографического совещания 7–11 мая 1932 г. по докладам С.Н. Быковского и Н.М. Маторина // Советская этнография. 1932. № 3. С. 4–14.

Стенограмма совещания этнографов Москвы и Ленинграда // Арзютов Д.В., Алымов С.С., Андерсон Д.Дж. (ред.). От классиков к марксизму: совещание этнографов Москвы и Ленинграда (5–11 апреля 1929 г.). СПб.: МАЭ РАН, 2014. С. 93–496.

Штернберг Л. Этнография // Энциклопедический словарь / Под ред. проф. И.Е. Андреевского. СПб.: Тип. Акц. о-ва Брокгауз-Ефрон, 1904. Т. 41 (81). С. 180–190.

Штернберг Л.Я. Краткая программа по этнографии (применительно к быту северных инородцев) // Сборник инструкций и программ для участников экскурсий в Сибирь. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Фото-тип. и тип. А.Ф. Дресслера, 1914. С. 212–251.

Howell S. Ethnography // Stein F. (ed.). The Open Encyclopedia of Anthropology: Facsimile of the first edition in The Cambridge Encyclopedia of Anthropology. 2023 (2018). <<http://doi.org/10.29164/18ethno>>.

Sanjek R. Ethnography // Barnard A., Spencer J. (eds). The Routledge Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. 2nd ed. London; New York: Routledge, 2010. P. 243–249.

Библиография

- Алымов С.С. Украинские корни теории этноса // Этнографическое обозрение. 2017. № 5. С. 67–84.*
- Алымов С.С., Арзютов Д.В. Марксистская этнография за семь дней: совещание этнографов Москвы и Ленинграда и дискуссии в советских социальных науках в 1920–1930-е годы // Арзютов Д.В., Алымов С.С., Андерсон Д.Дж. (ред.). От классиков к марксизму: совещание этнографов Москвы и Ленинграда (5–11 апреля 1929 г.). СПб.: МАЭ РАН, 2014. С. 21–90.*
- Арзютов Д.В. Полевые программы Штернберга и Богораза: от концепции поля к категоризации этничности // Резван Е.А. (ред.). Лев Штернберг — ученый, гражданин и человек: к 150-летию со дня рождения. СПб.: МАЭ РАН, 2012. С. 240–247.*
- Арзютов Д.В., Кан С.А. Концепция поля и полевой работы в ранней советской этнографии // Этнографическое обозрение. 2013. № 6. С. 45–68.*
- Богораз-Тан В.Г. Распространение культуры на земле. Основы этногеографии. М.; Л.: Гос. изд-во, 1928. 315 с.*
- Вахтин Н. «Проект Богораза»: борьба за огонь // Антропологический форум. 2016. № 29. С. 125–141.*
- Вахтин Н., Лярская Е. Письма из поля: принципы ленинградской этнографической школы и советская реальность // Новое литературное обозрение. 2024. № 190 (6). С. 15–43.*
- Гаген-Торн Н.И. Ленинградская этнографическая школа в двадцатые годы (у истоков советской этнографии) // Советская этнография. 1971. № 2. С. 134–145.*
- Головнев А.В. Этнография в российской академической традиции // Этнография. 2018. № 1. С. 6–39. doi: 10.31250/2618-8600-2018-1-6-39.*
- Гупта А., Фергюсон Дж. Дисциплина и практика: «поле» как место, метод и локальность в антропологии // Этнографическое обозрение. 2013. № 6. С. 3–44.*
- Давыдов В.Н., Сирина А.А. Тунгусская экспедиция 1927–1928 гг. и ее место в истории московской этнографической школы // Пивнева Е.А. (отв. ред., сост.). Поле как жизнь: к 60-летию Северной экспедиции ИЭА РАН. М.; СПб.: Нестор-история, 2017. С. 39–49.*
- Дмитриев В.А. Этнографический отдел Русского музея в комплексе научных интересов А.А. Миллера, палеоэтнолога и музейного деятеля // Кунсткамера. 2019. № 3 (5). С. 48–58. doi: 10.31250/2618-8619-2019-3(5)-48-58.*
- Дубов А.И. Профессор В.В. Бунак — выдающийся антрополог XX в. (к 110-летию со дня рождения) // Этнографическое обозрение. 2001. № 5. С. 118–131.*
- Иванова Т.Г. История русской фольклористики XX века: 1900 — первая половина 1941 г. СПб.: Дмитрий Буланин, 2009. 799 с.*

- Кагаров Е.Г. Пределы этнографии // *Этнография*. 1928. № 1. С. 11–21.
- Кан С. Лев Штернберг: этнолог, народник, борец за права евреев / Пер. с англ. А. Глебовской. СПб.; Бостон: Библиороссика; Academic Studies Press, 2023. 694 с.
- Китова Л.Ю. Вклад С.И. Руденко в развитие музейного дела: 1920-е гг. // *Вестник Томского государственного университета. История*. 2013. № 2 (22). С. 180–183.
- Лярская Е. «Ткань Пенелопы»: «проект Богораза» во второй половине 1920-х — 1930-х гг. // *Антропологический форум*. 2016. № 29. С. 142–186.
- Могильнер М. Ното impregii: история физической антропологии в России (конец XIX — начало XX в.). М.: НЛЮ, 2008. 512 с.
- Молл П. Этнографический отдел на общей выставке Л.Г.У. // *Этнограф-исследователь*. 1927. № 1. С. 4–6.
- Петров Г.И. Антропологические исследования Л.Я. Штернберга на Дальнем Востоке // Штернберг Л.Я. Гиляки, орочи, гольды, негидальцы, айны: статьи и материалы / Под ред. и с предисл. Я.П. Алькор (Кошкина). Хабаровск: Дальгиз, 1933. С. 637–698.
- Петряшин С. Этнологические станции 1920-х гг.: к истории стационарного метода в советской этнографии // *Антропологический форум*. 2025. № 67. С. 28–58. doi: 10.31250/1815-8870-2025-21-67-28-58.
- Платонова Н.И. Годы репрессий в жизни С.И. Руденко: сравнительный анализ архивных источников // *Известия Алтайского государственного университета*. 2008а. № 4–2. С. 151–158.
- Платонова Н.И. Палеоэтнологическая школа в археологии и Ф.К. Волков // *Вестник Томского государственного университета*. 2008б. № 315. С. 96–103.
- Преображенский П.Ф. Курс этнологии. М.; Л.: Гос. изд-во, 1929. 214 с.
- Ратнер-Штернберг С.А. Л.Я. Штернберг и Ленинградская этнографическая школа 1904–1927 гг. (по личным воспоминаниям и архивным данным) // *Советская этнография*. 1935. № 2. С. 134–154.
- Соловей Т.Д. История российской этнологии в очерках, XVIII — начало XXI в. М.: Этносфера, 2022. 611 с.
- Толстов С.П. Вопросы согласования методов полевых этнографических исследований // Богданов В.В., Толстов С.П. (ред.). *Культура и быт населения Центрально-Промышленной области (этнологические исследования и материалы)*. М.: Тип. ПТО МОНО при 1-м Моск. ин-те глухонемых, 1929. С. 36–40.
- Яхот И. Подавление философии в СССР (20–30-е годы) // *Вопросы философии*. 1991. № 9. С. 44–68.
- Eriksen T.H., Nielsen F.S. *A History of Anthropology*. 2nd ed. London: Pluto Press, 2013. X+254 p.
- Foks F. Constructing the Field in Interwar Social Anthropology: Power, Personae, and Paper Technology // *Isis*. 2020. Vol. 111. No. 4. P. 717–739. doi: 10.1086/712138.
- Gieryn T.F. Boundary-Work and the Demarcation of Science from Non-Science: Strains and Interests in Professional Ideologies of Scientists // *American Sociological Review*. 1983. Vol. 48. No. 6. P. 781–795.

- Gruber J.W. Ethnographic Salvage and the Shaping of Anthropology // *American Anthropologist*. 1970. Vol. 72. No. 6. P. 1289–1299.
doi: 10.1525/aa.1970.72.6.02a00040.
- Mills D. *Difficult Folk? A Political History of Social Anthropology*. New York; Oxford: Berghahn Books, 2010. X+221 p.
- Stocking G.W., Jr. Delimiting Anthropology: Historical Reflections on the Boundaries of a Boundless Discipline // *Social Research*. 1995. Vol. 62. No. 4: Defining the Boundaries of Social Inquiry. P. 933–966.
- Tishkov V.A. The Crisis in Soviet Ethnography // *Current Anthropology*. 1992. Vol. 33. No. 4. P. 371–382.
- Todes D., Kremontsov N. Dialectical Materialism and Soviet Science in the 1920s and 1930s // *Leatherbarrow W., Offord D. (eds). A History of Russian Thought*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. P. 340–367.
doi: 10.1017/CBO9780511845598.018.

The Bridegrooms of Ethnography: Projects for a New Ethnographic Paradigm in the Late 1920s

Dmitry Verkhovtsev

Independent researcher
St Petersburg, Russia
dverhovtcev@gmail.com

The first period of Soviet ethnography's existence, the 1920s, proved to be extremely fruitful and pluralistic in terms of theories. Four centres of scientific and ideological discourse-generation were active in forming ethnographic paradigms: the Leningrad schools of Volkov and Sternberg-Bogoras, the Moscow school of Anuchin, and the authoritative Moscow ethnographer and administrator Petr Preobrazhensky. By the end of the period, outside pressure forced the schools to crystallise their paradigm projects in texts and public speeches. The most vocal were Bogoras's project, which essentially identified ethnography with field research, the project of the Anuchin school, where the aim of ethnography was stated to be broad historical and cultural comparisons, the data for which would be collected in large, complex expeditions, short but with as broad a coverage as possible, and Preobrazhensky's project, which raised the "comparative" method to the universal level, practically absorbing historical science. With their projects, the leaders of the schools drew boundaries between the future ethnography and related disciplines, but were unable to protect it from Marxist ideology, and this ultimately predetermined the failure of the proposed claims. An attempt at mimetic resistance by presenting ethnographic methods ("field" in Bogoras, "technical-statistical" in the followers

of Anuchin, or “comparative ethnological” in Preobrazhensky) as an expression of Marxist materialist methodology (in the spirit of the philosophical movement of the mechanists) was a failure. This gave ethnography the reputation of a “non-Marxist” science, and contributed to the further defeat both of the schools of the 1920s and the institutions associated with them.

Keywords: ethnographers’ conference of 1929, Sternberg-Bogoras school, field methods, history of soviet ethnography, interdisciplinary boundaries.

References

- Alymov S. S., ‘Ukrainskie korni teorii etnosa’ [Ukrainian Roots of the Theory of the Ethnos], *Etnograficheskoe obozrenie*, 2017, no. 5, pp. 67–84. (In Russian).
- Alymov S. S., Arzyutov D. V., ‘Marksistskaya etnografiya za sem dnei: soveshchanie etnografov Moskvy i Leningrada i diskussii v sovetskikh sotsialnykh naukakh v 1920–1930-e gody’ [Marxist Ethnography in Seven Days: A Meeting of Ethnographers from Moscow and Leningrad and Debates in Soviet Social Sciences in the 1920s–1930s], Arzyutov D. V., Alymov S. S., Anderson D. J. (eds), *Ot klassikov k marksizmu: soveshchanie etnografov Moskvy i Leningrada (5–11 aprelya 1929 g.)* [From the Classics to Marxism: The Meeting of Ethnographers from Moscow and Leningrad (5–11 April 1929)]. St Petersburg: MAE RAS Press, 2014, pp. 21–90. (In Russian).
- Arzyutov D. V., ‘Polevyie programmy Shternberga i Bogoraza: ot kontseptsii polya k kategorizatsii etnichnosti’ [The Fieldwork Programmes of Sternberg and Bogoras: From the Concept of the Field to the Categorisation of Ethnicity], Rezman E. A. (ed.), *Lev Shternberg — uchenyy, grazhdanin i chelovek: k 150 letiyu so dnya rozhdeniya* [Lev Sternberg — Scholar, Citizen and Person (on the 150th Anniversary of His Birth)]. St Petersburg: MAE RAS Press, 2012, pp. 240–247. (In Russian).
- Arzyutov D. V., Kan S. A., ‘Kontseptsiya polya i polevoy raboty v ranney sovetskoy etnografii’ [The Concept of the Field and Fieldwork in Early Soviet Ethnography], *Etnograficheskoe obozrenie*, 2013, no. 6, pp. 45–68. (In Russian).
- Bogoras-Tan V. G., *Rasprostraneniye kulture na zemle. Osnovy etnogeografii* [The Diffusion of Culture on Earth: Foundations of Ethnogeography]. Moscow; Leningrad: Gosudarstvennoye izdatelstvo, 1928, 315 pp. (In Russian).
- Davydov V. N., Sirina A. A., ‘Tungusskaya ekspeditsiya 1927–1928 gg. i ee mesto v istorii moskovskoy etnograficheskoy shkoly’ [The Tungus Expedition of 1927–1928 and Its Place in the History of the Moscow Ethnographic School], Pivneva E. A. (ed., comp.), *Pole kak zhizn: k 60-letiyu Severnoy ekspeditsii IEA RAN* [The Field as Life: On the 60th Anniversary of the Northern Expedition of the IEA RAS]. Moscow; St Petersburg: Nestor-istoriya, 2017, pp. 39–49. (In Russian).
- Dmitriev V. A., ‘Etnograficheskiy otdel Russkogo muzeya v komplekse nauchnykh interesov A. A. Millera, paleoetnologa i muzeynogo deyatelya’

- [The Ethnographic Department of the Russian Museum in the Complex of the Academic Interests of A. A. Miller, Paleo-Ethnologist and Museum Employee], *Kunstkamera*, 2019, no. 3 (5), pp. 48–58. (In Russian). doi: 10.31250/2618-8619-2019-3(5)-48-58.
- Dubov A. I., ‘Professor V. V. Bunak — vydayushchiysya antropolog XX v. (k 110-letiyu so dnya rozhdeniya)’ [Professor V. V. Bunak, an Outstanding Anthropologist of the 20th century (On the 110th Anniversary of His Birth)], *Etnograficheskoe obozrenie*, 2001, no. 5, pp. 118–131. (In Russian).
- Eriksen T. H., Nielsen F. S., *A History of Anthropology*, 2nd ed. London: Pluto Press, 2013, X+254 pp.
- Foks F., ‘Constructing the Field in Interwar Social Anthropology: Power, Personae, and Paper Technology’, *Isis*, 2020, vol. 111, no. 4, pp. 717–739. doi: 10.1086/712138.
- Gagen-Torn N. I., ‘Leningradskaya etnograficheskaya shkola v dvadtsatye gody (u istokov sovetskoy etnografii)’ [The Leningrad School of Ethnography in the 1920s (At the Origins of Soviet Ethnography)], *Sovetskaya etnografiya*, 1971, no. 2, pp. 134–145. (In Russian).
- Gieryn T. F., ‘Boundary-Work and the Demarcation of Science from Non-Science: Strains and Interests in Professional Ideologies of Scientists’, *American Sociological Review*, 1983, vol. 48, no. 6, pp. 781–795.
- Golovnev A. V., ‘Etnografiya v rossiyskoy akademicheskoy traditsii’ [Ethnography in the Russian Academic Tradition], *Etnografiya*, 2018, no. 1, pp. 6–39. (In Russian). doi: 10.31250/2618-8600-2018-1-6-39.
- Gruber J. W., ‘Ethnographic Salvage and the Shaping of Anthropology’, *American Anthropologist*, 1970, vol. 72, no. 6, pp. 1289–1299. doi: 10.1525/aa.1970.72.6.02a00040.
- Gupta A., Ferguson J., ‘Discipline and Practice: “The Field” as Site, Method, and Location in Anthropology’, Gupta A., Ferguson J. (eds), *Anthropological Locations: Boundaries and Grounds of a Field Science*. Berkley, CA: University of California Press, 1997, pp. 1–46.
- Ivanova T. G., *Istoriya russkoy folkloristiki XX veka: 1900 — pervaya polovina 1941 g.* [The History of Russian Folkloristics of the 20th Century: 1900 — First Half of 1941]. St Petersburg: Dmitriy Bulanin, 2009, 799 pp. (In Russian).
- Kagarov E. G., ‘Predely etnografii’ [The Limits of Ethnography], *Etnografiya*, 1928, no. 1, pp. 11–21. (In Russian).
- Kan S., *Lev Shternberg: Anthropologist, Russian Socialist, Jewish Activist*. Lincoln, NE: University of Nebraska Press, 2009, 550 pp.
- Kitova L. Yu., ‘Vklad S. I. Rudenko v razvitie muzeynogo dela: 1920-e gg.’ [The Contribution of S. I. Rudenko to the Development of Museum Studies: 1920s], *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta*, History, 2013, no. 2 (22), pp. 180–183. (In Russian).
- Liarskaya E., ‘“Tkan Penelopy”: “proekt Bogoraza” vo vtoroy polovine 1920-kh — 1930-kh gg.’ [“Penelope’s Cloth”: The Bogoras Project from the Late 1920s–1930s], *Antropologicheskij forum*, 2016, no. 29, pp. 142–186. (In Russian).
- Mills D., *Difficult Folk? A Political History of Social Anthropology*. New York; Oxford: Berghahn Books, 2010, X+221 pp.

- Mogilner M., *Homo imperii: istoriya fizicheskoy antropologii v Rossii (konets XIX — nachalo XX v.)* [Homo imperii: The History of Physical Anthropology in Russia (Late 19th — Early 20th Centuries)]. Moscow: NLO, 2008, 512 pp. (In Russian).
- Moll P., 'Etnograficheskiy otdel na obshchey vystavke L.G.U.' [The Ethnographic Section at the General Exhibition of L. G. U.], *Etnograf-issledovatel*, 1927, no. 1, pp. 4–6. (In Russian).
- Petriashin S., 'Etnologicheskie stantsii 1920-kh gg.: k istorii statsionarnogo metoda v sovetskoj etnografii' [Ethnological Stations of the 1920s: Towards a History of the Stationary Method in Soviet Ethnography], *Antropologicheskij forum*, 2025, no. 67, pp. 28–58. (In Russian). doi: 10.31250/1815-8870-2025-21-67-28-58.
- Petrov G. I., 'Antropologicheskie issledovaniya L. Ya. Shternberga na Dalnem Vostoke' [The Anthropological Research of L. Ya. Sternberg in the Far East], Sternberg L. Ya., *Gilyaki, orochoi, goldy, negidalsy, ayny: statyi i materialy* [Gilyaks, Oroch, Golds, Negidals, Ainu: Articles and Materials], ed. by Ya. P. Alkor (Koshkin). Khabarovsk: Dalgiz, 1933, pp. 637–698. (In Russian).
- Platonova N. I., 'Gody repressiy v zhizni S. I. Rudenko: sravnitelnyy analiz arkhivnykh istochnikov' [The Years of Repression in the Life of S. I. Rudenko: A Comparative Analysis of Archival Sources], *Izvestiya Altayskogo gosudarstvennogo universiteta*, 2008, no. 4–2, pp. 151–158. (In Russian).
- Platonova N. I., 'Paleoetnologicheskaya shkola v arkheologii i F. K. Volkov' [The Paleoethnological School in Archaeology and F. K. Volkov], *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta*, 2008, no. 315, pp. 96–103. (In Russian).
- Preobrazhenskiy P. F., *Kurs etnologii* [Course in Ethnology]. Moscow; Leningrad: Gosudarstvennoe izdatelstvo, 1929, 214 pp. (In Russian).
- Ratner-Sternberg S. A., 'L. Ya. Shternberg i Leningradskaya etnograficheskaya shkola 1904–1927 gg. (po lichnym vospominaniyam i arkhivnym dannym)' [L. Ya. Sternberg and the Leningrad Ethnographic School in 1904–1927 (Based on Personal Memoirs and Archival Data)], *Sovetskaya etnografiya*, 1935, no. 2, pp. 134–154. (In Russian).
- Solovey T. D., *Istoriya Rossiyskoy etnologii v ocherkakh, XVIII — nachalo XXI v.* [The History of Russian Ethnology in Essays, 18th — Early 21st Century]. Moscow: Etnosfera, 2022, 611 pp. (In Russian).
- Stocking G. W., Jr., 'Delimiting Anthropology: Historical Reflections on the Boundaries of a Boundless Discipline', *Social Research*, 1995, vol. 62, no. 4: Defining the Boundaries of Social Inquiry, pp. 933–966.
- Tishkov V. A., 'The Crisis in Soviet Ethnography', *Current Anthropology*, 1992, vol. 33, no. 4, pp. 371–382.
- Todes D., Kremontsov N., 'Dialectical Materialism and Soviet Science in the 1920s and 1930s', Leatherbarrow W., Offord D. (eds), *A History of Russian Thought*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, pp. 340–367. doi: 10.1017/CBO9780511845598.018.
- Tolstov S. P., 'Voprosy soglasovaniya metodov polevykh etnograficheskikh issledovaniy' [Issues of Coordinating Methods of Field Ethnographic Research], Bogdanov V. V., Tolstov S. P. (eds), *Kultura i byt naseleniya*

Tsentralno-Promyshlennoy oblasti (etnologicheskie issledovaniya i materialy) [The Culture and Everyday Life of the Population of the Central Industrial Region (Ethnological Research and Materials)]. Moscow: PTO MONO Printing House at the 1st Moscow Institute for the Deaf and Dumb, 1929, pp. 36–40. (In Russian).

Vakhtin N., “Proekt Bogoraza”: borba za ogon’ [The Bogoras Project: The Quest for Fire], *Antropologicheskij forum*, 2016, no. 29, pp. 125–141. (In Russian).

Vakhtin N., Lyarskaya E., ‘Pisma iz polya: printsipy leningradskoy etnograficheskoy shkoly i sovetskaya realnost’ [Letters from the Field: Principles of the Leningrad Ethnographic School and Soviet Reality], *Novoe literaturnoe obozrenie*, 2024, no. 190 (6), pp. 15–43. (In Russian).

Yakhot I., ‘Podavlenie filosofii v SSSR (20–30-e gody)’ [The Suppression of Philosophy in the USSR (1920s–30s)], *Voprosy filosofii*, 1991, no. 9, pp. 44–68. (In Russian).